

В почитай уже незапамятном 95-м Денис ткнул мне под нос два листика машинописи: «Глянь, есть тут что-то обо мне?» То было предисловие Бродского к ещё не опубликованной его книге «Окно в январе». Книга выходила в легендарном издательстве «Эрмитаж», у Игоря Ефимова, с предисловием Нобелевского лауреата — о чем еще мог мечтать автор, которому и тридцатника не стукнуло? Деню волновало иное: «Он меня все-таки прочитал?» Т.е. я, как «бродсковед» (об ту пору как раз закончивший работу над диссертацией о И. Б.), должен был вычленить из общих соображений Иосифа Александровича о «поэте как орудии языка» и «частной персоне» какие-то следы прочтения собственно Денисовых стихов. Именно это его волновало в первую очередь — желание быть услышанным.

Я честно нашёл в предисловии искомое, честно указал и на общие места, резонирующие со многими эссе и интервью живого классика. Но виновник торжества всё одно был безмерно рад — его читали, его слышали. При последующей совместной читке драгоценного предисловия я радостно зацепился за фразу: «За скобками звучит речь человека не слишком весёлого, но свободного. Свободного прежде всего от надежды на успех и от ощущения значительности своей роли поэта».

Денис ответил характерной ухмылкой: «Ну, тут Акелла промахнулся».

Думаю, осознание собственной значимости, значительности пришло к нему совсем рано. Другое дело, что литературный этикет того литературного содружества, в котором он формировался, не позволял выставлять это знание напоказ, тем паче — им бравировать. Денису этого, собственно, и не требовалось — он и без того являлся едва ли не главной литературной надеждой 80–90-х. Его взхлёб приветствовал Евтушенко, а первая книжка в «Молодой гвардии» вышла тогда, когда большинство коллег по литературному подполью ни о чём подобном даже не помышляли. Его, совсем ещё начинающего, на равных восприняли, приняли в дружеский круг лучшие из лучших стихотворцев того времени: Гандлевский, Кибилов, Айзенберг. Впоследствии всё это переросло в легендарный театр поэтов «Альманах» и не менее легендарный альманах «Личное дело». И, наконец, за время своих английских вояжей он познакомился с Бродским, и не просто познакомился — имел возможность довольно коротко с ним общаться. Бродский же об ту пору являлся наивысшей инстанцией — как пошутил на одном из вечеров Дима Быков, «за право небрежно вернуть при беседе: “И тут Иосиф мне говорит...” — любой продал бы если не душу, то, как минимум, почку» (цитирую по памяти).

Всего этого, как ни странно, Денису было мало. Он, как всякий пишущий стихи, был простодушно тщеславен, по-детски радовался каким-то внешним приметам успешливости — но главным его желанием было, повторяюсь, одно: стать услышанным. Услышанным и понятым именно здесь и сейчас, хотя это и противоречило изначально принятым на нашем литературном пятачке правилам игры. Помню, в какой-то литкритической статье о Денисе отозвались как о «*метрическом плагиаторе*» —

и, вдобавок, «пассеисте». Я его, разобиженного, всячески утешал теми соображениями, что «пассеист» можно считать комплиментом, и вообще тебя-то вон всё-таки печатают, о тебе пишут, а все прочие где? — бесполезно. Призвав, наконец, на помощь чувство юмора, наш герой кое-как успокоился, но еще минимум полгода представлялся, расшаркиваясь, окружающим: «Денис Новиков, метрический плагиатор, пассаист».

И это при том, что в быту Деня старательно культивировал «мальчуковые» ценности: кураж, крутизна, бесшабашность, победительность, неуязвимость.

В стихах же он врать не умел, да и не стремился — редчайшая драгоценная черта, сразу же выделявшая его из множества взявшихся за перо. Что греха таить: в наши времена смолоду всяк, начинавший словесные излияния столбиком и в рифму, стремился как-то себя любимого, приукрасить, укрупнить и возвысить, «интересничал» — это было любимое словцо Дениса. Сам он в жизни интересничал самозабвенно, в стихах — практически никогда:

*Двенадцать часов. Место встречи — площадка за клубом.
Пожатия рук и ленивый обмен новостями.
Промокшая тумба отброшена выбитым зубом,
оставленным здесь не курящими «Приму» гостями.
Я с детства боюсь, только страх свой всё меньше скрываю,
и вправду, ну что я могу против местных — приезжий...*

Эти стихи восемнадцатилетнего Новикова имеют посвящение «Т. З.». Для грядущих толкователей расшифрую, что под инициалами скрывается Тимур Запоев — он же Тимур Кибиров, значивший для вступавшего в литературу Дениса чрезвычайно много. Позже, сам познакомившись с Тимуром, я научился распознавать во многих литературных суждениях Дениса следы strong opinions Кибирова. Тем

больнее и, подозреваю, катастрофичнее для судьбы Дениса оказался последующий разрыв с тем кругом старших товарищей по цеху, без которых сам он вряд ли смог бы состояться. Впрочем, я забегаю вперёд.

Итак, на дворе конец 80-х. Денис — красивый, двадцатидвухлетний — восходящая литинститутская звезда. В него влюблена большая часть окружающих поэтесс. Он на голову эрудированнее всех нас в области эмигрантской и просто неподцензурной литературы — я, например, будучи на пять лет его старше, со стихами Лосева, Кенжеева, Цветкова и ещё многих замечательных поэтов познакомился впервые именно через Дениса. Главная подкупающая в нём при общении черта — искренность, органичность жеста и высказывания. Другое дело, что и высказывания, и поступки бывали неимоверно резки, порой запредельно жестоки. Будучи профессиональным котом Леопольдом, я, помнится, пытался поначалу сглаживать какие-то его фортели, но, главное, пытался понять: отчего так? То, что за этим не стоит стремления к эпатажу, я понял довольно скоро. В толстокожести Дениса также никак нельзя было заподозрить — он, как всякий подлинный стихотворец, обладал даром влезать в шкуру чужой боли. Позже до меня дошло, что влезал он в эту шкуру отнюдь не с целью соперничества — чужая боль была попросту необходимой пищей для писания стихов. Как, впрочем, и своя собственная. Годы спустя Деня сказал об этом в одном из лучших своих стихотворений:

*Так знай, я призрак во плоти,
я в клеточку тетрадь,
ты можешь сквозь меня пройти,
но берегись застрять.
Там много душ ревет ревмя
и рвется из огня,*

*а тоже думали — брехня.
И шли через меня.
И знай, что я не душегуб,
но жатва и страда,
страданья перегонный куб
туда-сюда.*

А тогда, в 89-м, в моей 414-й комнате общаги Литинститута у нас, помнится, состоялся разговор по душам. Сначала он отшучивался обиходными цитатами навроде: «Поэт должен быть имморален» и «Чистенькими нас всяк полюбит», — потом, посерьёзнев, подытожил: «Знаешь, старик, вообще-то я уверен, что за стихи всё простится».

Тема была закрыта, спорить бесполезно. Оставалось хряпнуть беленькой и, обнявшись, в тысяча первый раз распевать наш суверенный застольный гимн: «Мальчишеская дружба неразменна».

Спустя пару дней после этого разговора Денис предъявил как последний и неопровержимый аргумент стихи, которые я посейчас считаю великими:

*Только слово, которого нет на земле,
и вот эту любовь, и вот ту, и меня,
и зачатых в любви, и живущих во зле
оправдает. Последнее слово. К суду
обращаются частные лица Твои,
по колено в Тобой сотворённом аду
и по горло в Тобой сотворённой любви.*

С таким аргументом, понятно, спорить уже невозможно. Всякое морализаторство выглядело занудным и смехотворным. Годы спустя я понял, что если искать Денису прототип из числа великих предшественников, то им будет

отнюдь не Мандельштам и не Георгий Иванов, которых сам он почитал за образец, — но, скорее, как ни странно это прозвучит, Цветаева. Приведу поразившие меня строки из письма Сергея Эфрона Волошину: «Марина — человек страстей... Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно... Почти всегда... всё строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Не сущность, не источник, а ритм, бешенный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, и через день снова отчаяние. И всё это при зорком, почти холодном уме... Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова».

Вот он — «страданья перегонный куб», о котором писал Денис. Он находил оправдание своей беспощадности к окружающим в беспощадности к себе самому — со временем это привело к разрыву чисто человеческих отношений едва ли не со всеми дорогими его сердцу литераторами. То есть, прежде всего, с тем кругом общения, которому его стихи были в первую очередь адресованы. И тогда Денис очутился в вакууме. Строго говоря, за что боролся — на то и напоролся. Именно в подобном вакууме создавалось всё наиболее драгоценное в нашей поэзии минувшего века, именно о нём писал Бродский в «Осеннем крике ястреба». Таким же запредельным, ледяным отчаянием веет от «Самопала», последней книги Дениса, и ещё более — от совсем последних стихов, в книгу уже не вошедших:

*Поднимется безжалостная ртуть,
забьётся в тесном градуснике жар.
И градусов тех некому стряхнуть.
На месте ртути я бы продолжал.
Стеклянный купол — это не предел.
Больной бессилён, сковано плечо.*

*На месте ртути я б не охладел,
а стал ковать, покуда горячо.*

Эксперимент, который он проделывал над самим собой, был доведён до логического конца в тот момент, когда Денис отказался от стихов. Я к тому времени с ним уже не общался, но мне передавали его слова: *«Стихи никому не нужны, их никто не слышит. Нет больше такого поэта Дениса Новикова, в новом веке я не написал ни строчки».*

Не знаю, правда ли этот жест был сознательным — или просто у Дениса не хватило сил для следующего рывка, не хватило воли пережить естественный период немоты и аккумуляции энергии отчаянья. Теперь это уже не имеет значения. Он в очередной раз предпринял попытку круто изменить жизнь, а получилось — ушёл из жизни.

Теперь, слава Богу, вышла книга, в которой собрано практически всё им написанное («Виза», М.: «Воймега», 2007). Денис занял законное место не только на книжной полке, но и в истории нашей поэзии минувшего века, с которой был связан единой кровеносной системой. Вступить в новое тысячелетие он как поэт отказался — так что давний упрёк в пассаизме, столь когда-то Дениса обидевший, был не столь уж несправедлив. Со временем можно станет отстраниться от воспоминаний и бесстрастно препарировать его стихи — пока у меня не получается. Скажу одно: при всей сложности личных отношений Денис был и остаётся для меня одним из самых искренних и бескомпромиссных поэтов нашего времени. До конца воплотившим жизнь в сказанное слово и исхитрившимся прожить её конгениально собственным стихам — куда там смехотворным на его фоне теоретикам и практикам «новой искренности».

Манук Жажоян, Андрюша Туркин, Денис Новиков — мартиролог моего поколения, ухнувшего в щель ватной

глухоты на переломе двух эпох. На моём экземпляре «Латинского квартала» — сборника, где мы с ним под одной обложкой, — рукой Дениса написано: «*Витя, я ещё не умер*». Для меня он и вправду не умер — скорее с ним произошло нечто подобное тому, что происходит в известных стихах Бродского: уехал в Австралию. Вот и Денис уехал в Израиль. Всё чаще я ловлю себя на том, сколь много его стихов живёт во мне суверенной жизнью. Помогая выживать нам, оставшимся:

*Учись естественности фразы
у леса русского, братан,
пока тиран куёт указы.
Храни тебя твой Мандельштам.
Валы ревучи, грозны тучи,
и люди тоже таковы.
Но нет во всей вселенной круче,
чем царскосельские, братвы.*

Я слышу тебя, Денис. Мальчишеская дружба
неразменна...

Первая публикация: в журнале «Арион», 2007, № 4.